

СКОЛЬКО ТЕРПЕНИЯ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО

*Бог избрал немудрое мира...
(I Кор.1, 27– 28)*

...Отмечалась годовщина со дня смерти Евдокии Петровны Еськовой. 14 марта 2003 года ей, старинной курской жительнице, исполнилось бы сто восемь лет. Она вживалась во второй век, ограниченный своим сроком. Её отболевшая плоть уже ничего не весила, и двое дюжих могильщиков отдали земле, словно пушинку, то, что земле и принадлежало.

Баба Дуня, как её звали многие знакомые, ещё продолжает оттуда «разговаривать» со внучками и правнуками в их снах. Её сын Михаил вместе с женой давно сделали в комнате бабы Дуни ремонт, сменили обои. Оставили в углу все те иконы, которым она молилась в земной жизни, оставили и самую большую, работы софринского иконописного заведения, икону Казанской Богоматери – Споручницы и Заступницы бабы Дуни.

...У неё была своя комната в курской квартире сына, а в ней – постоянное место жительства на кровати в трёх шагах от окна. В нём баба Дуня видела низкое бирюзовое небо, крыши соседских домов, летающих над старыми тополями ворон. Окно-то хоть и рядышком, всего в нескольких старушечьих шажках, но чтобы приблизиться к холодящему лоб оконному стеклу да окинуть ещё не слабыми глазами дольний мир с высоты четвёртого этажа, требуется посторонняя помощь. Телесная немощь горше всего, а так баба Дуня ничем опасным и не болела. И оставалось ей с этого места смотреть, как светит небо, размытое и располосованное снежным зарядом, да слушать, как под ветром машут со свистом тополёвые ветки. Уходила очередная зима, а на краю века зимы что-то стали малоснежные, без пышных сибобоев со вьющимися на вершинках снежными вихорками...

Мы были все по отношению к ней подростки: и кому исполнилось двадцать лет, и кому – восемьдесят. Нынешним молодым, с трудом привыкающим к статистическому приговору покинуть белый свет в 58 лет, трудно было постигнуть истоки её терпения. Но сколько ни думай о долготе её дней, и сколько запоздало ни желай, чтобы она соединила этой долготой три «арифметических» века – а послушав её простые речи, понимаешь, что её мысли – всё о том же, об одном...

Отступим на несколько абзацев во дни пропавшего в дымке позапрошлого века и попробуем обозреть «окрестности» лет, когда родилась и выросла Евдокия.

За 56 лет до её появления на свет умер Пушкин, за 32 года – в 1861 году – отменили крепостное право. Вещун Достоевский, напрозорчивший России век атеизма и революций, скончался за двенадцать лет до её рождения, и в том же 1881 году под давлением террора народовольцев против администрации был объявлен царский манифест, подтверждающий незыблемость самодержавия. Русский перевод Марксова «Капитала» уже всю «работал» в стране. В 1892 году в журнале «Русский вестник» стала публиковаться большая статья Василия Розанова «Теория исторического прогресса и упадка», а в 1899 году вышла первая книга основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда, учения о внутреннем мире человека, чьи побуждения объяснялись скрытым влиянием сексуальных инстинктов.

В 1893 году, когда родилась Евдокия Павловна, Лев Толстой ещё продолжал писать «Хаджи-Мурата» и «Воскресение», а Ленин переезжает из Самары, где исполнял должность присяжного поверенного, в Петербург, и в своих революционных статьях уже соединял начинавшееся стачечное движение с социализмом. В том же году Россия и Франция в ответ на возобновление Великобританией и Германией Тройственного союза ратифицировали военную конвенцию. С Великобританией Россия заключила договор о разграничении сфер влияния на Памире между Афганистаном и Бухарским ханством. Завершалось многовековое оформление Российской империи, будущее обещало России годы силы и процветания: к 1897 году её территория составила 22,4 млн. кв. км (уменьшилась лишь после распада СССР), а население достигло численности 182,2 млн. человек. Но эта сила была силой дуба, чья сердцевина оказалась изрытой невидимыми дуплами. В этом же году историк Ключевский оставил в записных книжках прозорливую мысль: «Наше будущее тяжелее нашего прошлого и пустее настоящего».

В следующем, 1894 году, на русский престол в возрасте 26 лет вступил Николай II, последний монарх русской империи, в которой насчитывалось 115 млн. православных, и когда, по замечанию епископа Антония (Храповицкого), стала нарастать духовная порча интеллигенции и русское общество продолжало покидать

«спасительный корабль веры». Не прошло и нескольких лет, как в Африке началась Англо-бурская война с её первыми в истории концлагерями для интернированных и военнопленных, а республика Оранжевая в Трансваале была аннексирована Великобританией в 1902 году. После Русско-японской войны с её позорными для России результатами, она вползла в бойло первой мировой войны в Европе. Новый век открывался войнами и заканчивался войнами, которые подлее и циничнее тех, что происходили в её начале. История по-прежнему никого ничему не учит, но наказывает за незнание уроков (Ключевский). Но – «поменьше истории» – сказал этот историк.

Баба Дуня находилась, может быть, и не на корабле веры, а на утлой ладейке, но её скорлупка прошла целый век насквозь, не потерпев крушения. Должно быть, в скромном движении ладейки по волнам житейского моря и нужно искать источник её душевного долголетия. Сын бабы Дуни Михаил, врач и писатель, в одном из своих рассказов о полуголодном военном детстве с травяными супчиками и молочной забелкой, вспоминал, как мать каждое утро начинала с молитвы, в которой просила хлеба насущного на текущий день, чтобы накормить и сохранить своих «писклят». Сын угрюмо спрашивал: «Молишься Богородице, а икона Николая Угодника». – «Молюсь святому месту», – отвечает ему мать. Наверное, баба Дуня и сохранила внутренний мир непорухенным, потому что во все скудные годы было у неё в душе святое место. Оно у каждого должно быть.

Сколько раз приходилось бывать в приветливом доме Михаила, и каждый раз поражался его сыновней терпеливости. Мать для него была центром вселенной. Всю жизнь он учился и учил других, а в дополнение к многолетней практике врача, санитара и сиделки «усваивал» ещё и науку о старости – геронтологию. Суровое это дело – доглядывать престарелую мать, терпением, лаской и уговорами скрашивая её дни. Она – как капризный ребёнок, все ей казалось, что её забыли, покинули, и каждому гостю не преминет на то пожаловаться, хотя кто больше сына и его жены Ольги, кажется, и хлопотал вокруг неё с её бедовой забывчивостью.

Дом этот был иногда и шумным. Приходили внучки с мужьями, солидные всё люди, тоже врачи, прибегали правнучки и правнуки, играли на скрипке или садились на диван ноги за шею – йогой занимались. Баба Дуня сидела среди них, как божок. Правнучкам даст на конфеты и шоколадки, она ещё человек самостоятельный, Отечество ей платило за погибшего на войне мужа. «Я ба-альшие деньги получаю», – говорила. За её жизнь рубль десятки раз менял нарицательную стоимость, и теперешние «тыщи» ей казались богатством. Кстати, пенсию от колхоза выхлопотать оказалось труднее – сколько бумажек надо было собрать, да и

разве могло упавшее сельское хозяйство заплатить когда-нибудь ей за её труд на земле...

Михаил рассказывал, как возил её весной на дачу, землю посмотреть. Она всё обсмотрела: и лучок, и петрушку, и капустные посадки. На яблонях было столько цвету, что и листьев не видно, а вот на вишнях две-три бубочки завязалось. От воздуха и запаха цветущей зелени у неё закружилась голова. Отвезли её, разволнованную, домой, дали таблеток, уложили в постель. «Посмотрела, а не радуется, – говорил Миша. – Прошлой весной возили – радовалась».

Зайду, бывало, к ней в комнату поздороваться, поговорить, ручку поцелую: для неё это целое событие. Не ручку даже поцелую, а невесомую птичью лапку, обтянутую восково-блестящей пергаментной кожицей, под которой просвечивает каждая косточка, каждый суставчик. Она расцветёт, преобразится в улыбку, глаза её в мохе древних ресничек по-девичьи радуются. Закрестит меня перстами: «Да дай же тебе Бог здоровья. Да тебе, да твоей жане, да твоим деткам!» Пока согреваю её прохладные руки в своих ладонях, она начинает со сладостью жалиться:

– Ой, совсем глухая стала, в голове здучить-здучить, ничего не слышу. Ты громче мне кричи. (Миша добавляет: «Я ей пульс на черепных венах слушаю, так лучше слышно».) Вже земля меня не носить. И чего ж ты, Борис, пришёл, а мне смерть не принёс? Всем я в обузу. Дожила, куды стоко... до девяноста годов... (Тут она на меня смотрит с лукавой усмешкой: вот, дескать, как приврала.) А Бог меня не прибирает. Нехай бы меня Мишкя домой отвёз, у Луг, а я б там померла. Дюже здеся у городе погост нехороший, ой, не нравится.

Хутор Луг в Пристенском районе Курской области – для бабы Дуни место, где она прожила большую часть своей большой жизни. Утешаю её, говорю, что нельзя Бога гневить, а жить, сколько посылает. Она кивает, соглашаясь: нельзя, дескать. И тут же, по-детски всхлипнув:

– А мене у двери сажают на диван, как собачку, чтоб слушала, хто идёт. А приходил этот (называет имя общего нашего знакомого, который на днях был у Миши в гостях). Накормил яго, напоил. А я... пойду по дворам, корку хлеба и мне дадут...

Это у бабы Дуни дежурные обиды, от ревности. Всё ей казалось, что «Мишкя» мало ей времени уделял. Но как человек, долгой жизнью умудрённый, она о вечном думала тоже. У неё под кроватью в чемоданах – похоронная справа, да и на поминки что-то, небось, было собрано.

– Да ладно тебе, ма, – урезонивал её Миша.

Она тут же переходит на того человека, который в гости приходил. У него свои трудности: жизнь как-то так связалась, что нужно переезжать в другой город, а в Курске остаётся хорошее жильё, круг знакомых, общность интересов, здесь его уважают и любят. На чужом поле, знают спортсмены, всегда труднее играть, а уже не молодость, а уже горькая старость подкатила. Баба Дуня в его беду вошла, как входит в любую чужую, – как в свою. За всех она переживала, всех поругавшихся хотела помирить, всех разъединяющихся свести опять вместе. И ей показалось, что у «Мишки» другое мнение, стучала на него палочкой:

– Не лезь! Сами разберутся. Его паралик хватит, ты за ним будешь ходить? А там (в новом городе, имеет она в виду) и стакан воды подадут и умоют...

– Да не лезу я, мам. С чего ты взяла?

– И не лезь!

Она и обо мне всё знала, о человеке, в их доме не редком: нам довелось побеседовать в то время, когда у бабы Дуни со слухом было в порядке. Не о том знала, где жил, кем служил. Ей, может, незачем было слышать, что я думаю о президенте, о народном менталитете или о рейтинге правительства: она в главное смотрела – в душу. Она что-то чувствовала, даже когда бодро глядел и высоко сидел, и всё к одному поворачивала: да как «жана», да как дети? «А у матери бываешь? Как её здоровье?» Это для неё оселок, на котором точилась суть человека: если мать не забывает, если с женой ладишь, если дочери здоровы – то ты и сам человек не пропащий, всё у тебя впереди.

Послушав скупые ответы, начинала сама рассказывать, и как будто торопилась, что не успеет рассказать, а люди больше не узнают. А у неё всё важное: и про мужа, и про сына «Васькю», и про сына «Мишкю», и про племянниц с зятьями, и про войну... Как говорится: было бы сердце, а печали найдутся. Она уже никогда не узнает, что войну нынешние «гибкие» историки извратили, а её жертв и мучеников оболгали, и вдруг ловил себя на том, что все те родные, кто не вернулся оттуда, с прошлой войны и которых она уж пятьдесят лет как обвыла – и муж, и старшие сыновья, – все они для неё были живы.

Настоящие историки называют себя наблюдателями событий, а вот баба Дуня могла считать себя действующим лицом: пускай маленьким, но – главным. Потому что история именно её брала на перелом и на стойкость, каток событий всегда катился по её судьбе и по её детям. Где бы что ни происходило, а войны прямо вторгались на хутор Луг, забирали мужчин и чаще – безвозвратно. Оккупация принесла голод и лишения. Индустриализация оттянула в города и на новостройки последнюю молодёжь.

...Как-то наткнулся на книжку в голубом супере и отыскал в ней ооновские декларации прав и свобод человека; молитвенник диссидентуры, составленный в 1948 году, когда в наших деревнях кое-где продолжали пахать на бабах за недостатком мужиков и тракторов и когда только оправились от голода сорок шестого года. И «приложил» эту декларацию к судьбе бабы Дуни. «Никто не должен содержаться в... подневольном состоянии», «никто не должен подвергаться бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению», каждый «имеет право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации», право на гражданство и на его перемену, право на свободу религии и право на её перемену... Какие прекрасные слова! Всё можно, оказывается, переменить, можно свободно выбрать работу, можно голосовать и выражать волю народа. Но что конкретно было «разрешено» бабе Дуне не декларациями, а современной жизнью? «Справедливые и благоприятные условия труда» в выморочной деревне; признание колхозным объездчиком бабы Дуниной «правосубъектности»; доступность ей «образования, направленного к полному развитию человеческой личности» – в перерывах между молитвами, бригадирскими нарядами, беготнёй ради куска хлеба и прополкой собственного огорода? Это как-то бабу Дуню миновало. У неё были не права и свободы, а обязанности. И конечно, никогда она не могла бы переменить гражданства хутора Луг на какое-либо иное, никогда бы не поняла своего «права» на перемену Бога: не так она была устроена.

В русской деревне что в царское время у барина, что в советское колхозное время было, конечно, состояние большой зависимости от природных условий и подневольности у власти. Засухи и недороды урожая были даже страшнее бригадирского гнёта. Каток истории направлен был по деревне не случайно. Последним содержанием истории стала цивилизация, а цивилизация есть философское «снятие» и физическое «преодоление» природы, которую «выражала» деревня и её последние жители. Но природа – женского рода, она Матуха – последняя и старшая в роду женщина. «Снять» власть земли, ликвидировать свою зависимость от природы означает вывести «фактор» Матухи из разряда существенных. Так это и есть воплощение судьбы бабы Дуни...

Всмотревшись в неё, вдруг замечаешь, что никакие благонамеренные декларации не могли придать её судьбе и никаких дополнительных прав, но и ничего не могли отобрать сверх того вечного женского, что было предписано бабе Дуне природой. Например: родиться самой, в свой срок выйти замуж, родить детей, вынянчить, сколько позволили «условия» века, выкормить и выпустить в свет своих оперившихся «писклят». Это потому, что её судьба стала «содержанием» не гражданской цивилизации с её лукавыми «ценностями», в которых многие обманываются, а – нашей чёрной земли, стала её солью. Она продлила род и кровь, а

жизнь всё равно мудрее нас и каждому в своё время найдёт равновесное «применение». Опали шелухой громкие «права» и свободы, её не коснулся жар борений за женскую эмансипацию, для бабы Дуни, может, не важно было даже, в какой стране жила и живёт, как функционировало государственное устройство, не знала, откуда приезжают, скажем, грузины-шабашники или куда плывут на своих телегах с шатрами всесветные цыгане. Ничего не слыхала она о математических способах моделирования мира, о последних достижениях астрофизики, о совершенствовании ядерных технологий, не дошли до неё вести о новых системах компьютеров, считающих в тысячи раз притче человека. Всё это оказалось ей не нужно и мимо прошло.

А нужно было одно: с утра помолиться Споручнице и Заступнице и впрягаться в свой бабий воз, потому что никто её дело за неё не сделает. И не нужно ей было знать, что подумал о прогрессе и его упадке один философ и из каких глубин низкого в человеке выводил свои объяснения другой. Современница коронавания последнего российского императора, которого пережила более чем на восемьдесят лет, ровесница великих открытий ума и начала вселенского преобразования природы, она прожила в такой простоте, перед которой теряешься и робеешь, как перед вечной простотой клетки, которая, как известно, является потенциальной основой живого существа.

И, раздумавшись над жизнью бабы Дуни, понимаешь, наконец, почему апостол Павел так объяснял метафизическую «причину» христианства – «чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». В мире царят «величины» – в философии, в политике, в науке, в художествах, в битвах на поле боя. Человечество обоготворяет их по тому «вкладу», который каждая из этих «величин» внесла в копилки культуры и цивилизации. Божественный замысел о человеке иной, в нём нет места преимуществам «величин»; здесь значащее и немудрое не самоуничтожаются, а равны. И это трезвое отношение ставит всё на свои места в наших представлениях о мире, помогает определиться. Баба Дуня не «ниже» Эйнштейна или Фрейда, она не потеряна рядом с императором Николаем или отцом кибернетики Винером – она им всем была равна в своём «явлении», как живая душа. Незнатная, неграмотная, немощная, она же и избранница...

Написал о «клетке», вспомнил о «простоте». А знаменитые бабы Дунины вышивки! Близким к семье Еськовых известны её вышитые крестиком рушники и скатерти – целые полотна с петухами и невиданными цветами. Когда ещё баба Дуня умела сама вдеть нитку в иголку, из-под её рук вышли эти петухи и цветы. Из какого воображения? Из культуры, оказывается. Деревенские традиции ткачества и вышивки были не только ремеслом, но и творчеством. Вышивки воплощали

представления о мире и месте человека в нём, в узорах вышивок заключались сакральные знаки и символы, в которых освящались небо и земля, поля и деревья, растения и звери, кодировалась и из поколения в поколение передавалась информация, в них заключались впечатления о прекрасном. И непременно нужно было иметь в себе художественную жилку, чтобы стежок за стежком, день за днём и месяц за месяцем переносить с терпеливым и любовным тщанием рисунок сперва на основу, а потом по ниточке, по ниточке выдернуть ткань основы, чтобы цветной узор, в котором угадываются и поле с опушкой леса, и река, и сказочная птица – языческие знаки, хранящиеся древней памятью крови и уже недоступные нам своим смыслом – перешёл бы на материал и остался гореть на нём законченным произведением. Уж не знаю, что видела баба Дуня в тех цветастых узорах: своё девичество, любовь...

Стоило посмотреть на её сосредоточенную манеру работы, а потом на бережное, ощупывающее оглаживание последних узелков и стежков, на последнее неявное любование своим трудом, с удовлетворением от сделанного, а потом – как у мастера по окончанию картины – чуть равнодушное, отстранённое наблюдение зрительских восторгов и похвал!

...Иногда страшно было мне. Как дожить до бабы Дуниных лет, не износив души? Человек приходит в этот мир, чтобы претерпеть его, выполнить своё назначение и нажать душу, которой нужно поделиться с людьми и потом вручить небесам. И если догадываешься об этом, то в терпении уже нет печали, но лишь сдержанно-благородное ожидание радости встречи с вечным. Так, наверное, правильно.

И не случайно было сказано: «Кто хочет сохранить душу, тот её потеряет». Нельзя её хранить в сундуке недоступной для «пользования», и чем больше человек её тратит на добро, тем прозрачнее она, тем светлее становится. Мы, молодые, что-то рано устаём, мы прагматики и больше думаем о своём, и лукавое воображение подставляет нам картины опустошительных душевных трат и избывания дней без того участливого отношения к другим людям, которое было свойственно бабе Дуне, существу не только из иного века, но и из другого мира. У неё и язык был «оттуда», из угасших галактик, откуда редко теперь доносится звук человеческого голоса: старинная, простая и живая речь со своими «блётками» и красками. Реликтовая эта речь теперь исчезла под давлением молодёжного сленга, компьютерной «фени» с её американизмами и залитературенного жаргона интеллигенции. Никто уж так не говорит, кроме старых деревенских стариков да бабы Дуни. Она, может быть, была последней из людей, у которых иной, чем у нас, генный состав, иное расположение молекул ветхонького тела, материальной «решётки» со всей своей грустной

«биологией», клетки для души, осветлённой настолько, что уже переходила прямо в дух.

...Как-то в разговоре вспомнила она про «Васькю» – одного из своих умерших сыновей. Как тот парнем выглянул в окно из избы на хуторе Луг и увидел далеко на тропинке кого-то в чёрном:

– «Вон, – говорит, – моя нявеста идёт». Далеко идёт, не понять, мужик или баба. Говорю ему: «Иди доску перекидывай, встречать надо». (Чтобы подняться к их избе, нужно было перейти ручей, через который перебрасывалась шестиметровая доска).

Баба Дуня взглянула на меня – и не договорила...

Пока она жила у своего окошка, мне казалось почему-то – так спокойнее на свете, потому что она думала о каждом из нас персонально и каждого жалела. Не могу отделаться от этой мысли и сегодня в комнате бабы Дуни, когда в первые весенние дни за окном, случается, схлынет бирюзовая мгла да просверкает ярое солнце – так что глазам больно от перемены света – а небо вспухнет, расширится и проявится в нём бледная, голубоватого жемчуга, глубина вечности, которая невидимой ниточкой мимо висящих в углу икон соединялась тогда со взглядом человека из позапрошлого века.

Значит, всё ныне высветлилось, всё она претерпела, всю душу она здесь, на земле, отдала...